

Сарай, свой в доску, голубиный рай,
Сухой помёт пружинит, что перина,
И этот вечер душен, хоть ныряй
В морские воды цвета керосина.

Застыли пальмы у кафе «Чичак»,
Что волосаты на манер куделей.
«Пускай же не погаснет твой очаг,
Пусть винный погреб твой не оскудеет.

Чтоб в этот дом не пробралась беда,
Я первый встану, я твой брат, бакинец».
Отговорив, усатый тамада
Тебя обнимет, рюмку опрокинет.

Он через год вернётся, выбив дверь
(В те времена такое не осудят),
И в занавесь, сорвав её с петель,
Он будет паковать твою посуду.

А ты уже сбежишь через Сохнут
С женой-еврейкой, бросив эти блюда.
А голуби тревожные вспорхнут
И больше не вернуться. Не вернуться.

Речник постарел, и судьба решена —
Он долгой чахоткой измучен.
Сгустилась ручная его тишина
До самого скрипа уключин.

И ждёт он которой по счёту зари,
И, смертную чуя зевоту,
Он смотрит, как тучи уходят за Рим,
Незнамо который по счёту,

И скоро пройдёт под раскатыстый гром
Путём, что досель не разведан,
Туда, где Харон рассекает багром
Багровое пламя рассвета.

И мёртвые рыбы шагают по дну,
И сохнет осока худая.
Все реки на свете впадают в одну,
А та никуда не впадает.

1. Первое христианское кладбище города Баку.

Приходится жить, Мустафа, на небесном режиме.
О мире моём подзабытом, прошу, расскажи мне.
Растут ли платаны, поют ли речные истоки?
И что там с цветами под небом моих каппадокий?

Тебе не понять, Мустафа, что для Бога мы — рыбы.
У самого синего понта, смиряя порывы,
Кончается ветер, кончается ветер. Не сникли
Там горькие травы? Остался ли запах мастики?

Ты тоже моим обвалившимся башням — наследник.
Ты тоже живёшь с этих статуй, с мозаик последних.
Что делают в мраморном храме, творят ли молитву?
Кто в маленьком греческом доме, с кольцом на калитке?

Чем дольше живёшь, Мустафа, тем сильнее умираешь, —
Закон этот древен. Увидишь — у самого краеш-
ка света протянуты сети, протянуты сети,
Когда тебе будет, как мне, тридцать восемь столетий.

На снос Монтинского¹ кладбища

«Вагаршапат Погосян, бакинский лётчик, лети в небо».

Лапидарная надпись

Вагаршапат, субботный листопад.
Могильный холод почитай с досок.
От тьмы до тьмы недолгий наш бросок,
Где наливают стопку, и стопа
Застряла в камне, и она почти
Короче жизни. Холод мой прочти.

Бакинский лётчик, Б-г тебя храни,
Когда ты мрамор и когда гранит,
Забудь, кто вычтен, вычитан до дна,
Теперь земля, и лишь она одна,
Ведёт ряды на каменный парад.
Вагаршапат, солёный виноград.

Бакинский лётчик покупает лёд.
От тьмы до тьмы — подземный переход.
Не снег идёт, не ливень снизу льёт.
Ты дважды умер, нет теперь забот.
И горько думать о земле о той,
В которой — полночь в голове пустой,

В которой — холод в каменной дыре.
Вагаршапат, такой-то год, тире.

Обойдёшь турецкий магазин,
Где смешенье лиц, смешенье вех.
О чужом взывает муэдзин,
И чужой язык—один на всех.

И пока закат не отблестал,
Помолчи, пусть схлынет жар дневной.
«Небо Илиады и Христа—
Это небо над твоей землёй».

Что тебе торговля, ты реши,
Разложив гранаты и айву.
Ведь у турка точно нет души.
Отчего так вышло, не пойму.

Уезжай отсюда, чорпачи,
На повозке, с кошельком в руке,
А Константинополь промолчит
На твоём забытом языке.

Только корольки все лады
Пропоют тебе осанну вслед.
Будто отзвучавшая латынь—
Над Софией небывалый свет.

— Теперь армянскую давай!—
Поднявшись, крикнул дядя Яша,
И затанули «Ара уай»,
И вот уже ползала пляшет.

Тотчас, толкаясь, в круг бегут
Простых два горца, с виду—братья,
И чьи-то тётки из Баку,
В расшитых зеркалами платьях,

Не растерявшие корней,
Лезгинку показать готовы,
И задыхается кларнет,
Гудя, как ветер на Торговой.

А я вдруг вижу: огоньки
В осеннем воздухе повисли
Над чайханой «Пюррянги»,
Увитой виноградом кислым,

Печаль оливковых аллей,
Которой поделиться не с кем,
И первой девочки моей
Дом на углу Красноармейской,

И море пенное, с кормы,
И сень с побегами паслёна
Там, где соседские холмы
На русском кладбище снесённом.

«Не стыдно, слушай, ай киши?»
На языке бакинских урок
Мне говорят: иди пляши,—
А я заплакал, как придурак.

Химическим светом над морем горят арабески,
И блики на солнечных стенах немисливо резки,
И ласточки плачут, и не завершается лето,
Где зелен был Киров и был комиссар Фиолетов.

И помнят твои рядовые, мучитель мой нежный,
Как слабой рукою подвязывал галстуки Брежнев,
Куски облаков над беспечной моей головою
И как перейти через поле твоё силовое,

Где были объятья твоих небольших расстояний,
Когда насовсем из тебя исчезали армяне.
О чём же теперь красноводский паром завывает?
Теперь не отмоют от смерти ночные трамваи.

Не нужно ковров и чеканок твоих по латуни,
Пусть только твой шарик блестящий уходит к лагуне,
Над мёртвым фонтаном, аптекой и книжным пассажем,
Над старым бульваром, где жёлтый касатик посажен.

Архимедова слабость—подсчёт неразгаданных сил,
Про ходьбу по воде он не знал, просто жил слишком рано
Если веришь—люби, а родился в рубашке—носи,
И стучит о ворота бревно с головою барана.

Это так возвращается в кровь, на слонах, на китах,
Междуреченский мир, под единственной функцией веры
И рождаются ангелы, что на прозрачных крылах
Над округлой лепёшкой земли понесут полусферы.

Уходи, уравниенье твоё не имеет корней,
До земных облаков долетает другая молитва,
И останутся лишь для турецких овец и коней
Серебрянные мятликом склоны пустого Олимпа.

А над ним Орион, и кометы плетутся в хвосте,
Омикрон, ро, омега, пи, ипсилон, каппа и бета,
И у космоса, в необозримой его пустоте,—
Только свет Прометея, летящий со скоростью света.

Памяти жертв погромов в городе Баку

Ты скажешь «мугам», а слышно «погром, погром».
Не ешь и не пей, а шепчи на своём аргю:
«Не прячь ничего, не надо пустых затей,
А вещи переживают своих людей».

Ты любишь пожить, такая у нас любовь,
И полные пальцы ветра, и рот—зубов.
Страна приучила помнить, когда бежать.
Запомни своих соседей лишь по ножам.

Теперь становись незрим, от мороза млей,
Ведь ты остаёшься вечным в своей земле,
Как от сверчка остаётся его шесток
И от сапожника—имя и молоток.